

Сов. Россия, 1985, 5 апр.

Виктор Астафьев

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОЗЕ МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

ВЕЧНОЕ ТВОЕ КОЧЕВЬЕ

Анатолий Буйлов вступил в литературу в зрелом возрасте и сразу же с почти зрелой прозой — романом «Большое кочевье», хотя, по моему глубокому убеждению, романом эту книгу называть еще рано, пока это просто толстая книга, достоверно и честно, порой до наивности дотошно изображающая не только красоты Севера и экзотику редкостной профессии — оленевода, но и немислимые, порой непосильные трудности работы и жизни на Севере.

И вот в этом — в снятии ореола и романтической дымки с обложки и профессии северянина, охотника и пастуха — есть главное достоинство первой книги А. Буйлова. Он как бы приблизил, и приблизил зримо, красочно, порой даже ярко, обыденную картину обыденного труда в обыденной для него, автора, обстановке, среди обыденной для него жестокой и прекрасной природы.

Недавно я пролетал над северными далями нашего необозримого востока. Был ясный зимний день, и с огромной высоты было отчетливо видно голую, слегка всхолмленную равнину или лесотундру, постепенно переходящую в нагромождения, а затем и громады горных хребтов, посыпанных по южному склону темной порошечей лесов и кустарников, черных, в белых парапинах ледников и неподвижных, морозно святающихся

снегов, слухых с вершин в ущелья. Ни огонька, ни дыма, ни живой души не угадывалось сверху. И только в одном месте возникла накатанная, стеклянno отблескивающая полоса, идущая вдоль какой-то большой реки, извилисто вползающая на склоны и стекающая со склонов, и я понял, что это дорога, и вдруг подумал: «Вот по такой же, может быть, кочевал со своим оленьим стадом Толя Буйлов?» — И поехал, представив, как там, внизу, сейчас студено, как долго до весны, до тепла, до встречи с жильем и человеком.

И все эти ощущения ко мне не с неба свалились, все они были навеяны не только моими воспоминаниями и прошлым опытом жителя Севера, но и книгой А. Буйлова, которого я с первой встречи завлажал за непросто прожитые лета, за серьезность литературных намерений, основательность характера, за хозяйское, мужское отношение к дому, к семье, ко всей нашей неспокойной и очень сложной действительности.

Ему предстоит еще много сделать, и не только на бумаге, но и в себе, с собою. Предстоит невероятно трудная школа самоусовершенствования, познания души человеческой «через себя», постижение глубин жизни уже в качестве «пастуха мысли» (да простится мне этот неуклюжий каламбур).

Тут хочу сделать отступление о важности такой школы самоусовершенствования для писателей от земли и о судьбах тех из них, кто школу отвергал.

Бывало, бывало: испечатают, исхвалят, примут везде и всюду, и городские жительницы, добрые редакторши из крупного московского издательства, округляя глаза, сообщают, что был, только что был писатель-дальневосточник, он жил и охотился в тайге один всю зиму и добывал соболей или кротов, изловил кабаном и убил из ружья не одного медведя и, о ужас, о героизм, едва спасся от тигра, который лопился ночной порой в охотничью избушку.

Дальше шли деловые сообщения: от такого самобытного писателя-зватока можно и нужно много ждать, он уж непременно уничтожит так распространенную ныне в литературе приблизительность, освежит задряхлевшее слово, придаст молодой прозе мускулистости, мощи и силы. Но ему надо учиться, ох, как упорно учиться, диковат «шаря», пишет слова «глобополучно», «взамуж», «заимодействие», — как слышит, и очень увлекается красивостями типа «чарующий свет заката», «все мое существо пронизано трепетностью чувств» и т. д. и т. п. И поступил кондовый дальневосточник в союз. Приехал в Москву на высшие литератур-

ные курсы, отрастил модную бороду, купил заграничный портфель. Пьяненько хвастался, что в нем, в портфеле, у него уже пятнадцать издательских договоров, что все писатели там, т. е. дома, на Дальнем Востоке, хотят его живьем слопать от зависти. Да он не такой, как Васька за рекой, он им не дастся, он возьмет и в Москве останется...

В Москве он отчего-то не оставался или его не оставили, сменил несколько мест жительства и жен, год от году договоров в портфеле все меньше и меньше, да и сам портфель изнашивается от творческих путей и натуг. Говорили о нем тоже все меньше и меньше. Умер он в расцвете лет от черного пьянства, в чужом городе, в чужой квартире, в одиночестве и бесплодной злобе на всех и вся, так и не появившись, что самоутверждение в литературе делается своими руками, своим трудом, и трудом сверхнапряженным, изнуряющим, доводящим до отчаяния. И труд этот состоит не только из застойной, писчебумажной работы, а равнее и прежде всего из повседневной душевной потребности пополнять свои знания. Явился ведь не во чисто поле, усеянное злаками и плодами для твоего небедного пропитания и цветочками — для красоты и вдохновения, в литературу явился, где громады такие, что смотреть на них снизу вверх не дыша и то боязно, а рабо-

тать «вместе с ними» и после них — это ж каким надо быть нахалом-то? Сколько надобно знать-то? Уметь? Постигнуть?

Учиться, учиться, все время учиться, всю жизнь быть в трудовом творческом напряжении всякому, кто смел взяться за перо в русской литературе. И Анатолию Буйлову тоже. Судя по письмам ко мне, всегда обстоятельным, раздумчивым, Анатолий понимает, что следующая книга его должна быть лучше первой, третья лучше второй, и прочитанные мною отрывки из его новой книги подтверждают, что он уже многое преодолел в работе, текст стал чище, слово плотнее, таяжные картины все так же емко и точно написаны, как и в первой книге, но образы уже не случайно вахпаны, не от изобилия одного друг на дружку вагромажлены. Уже есть отбор, уже работают не только внутренний слух и нюх, но и «ремесло» дает о себе знать, растет внутренняя культура. Ведь краски, выделанные из тубиков на полотно и размазанные по нему, пусть даже самые ярко — еще не картина.

Мне думается, обогащает молодого писателя дружба с прекрасным дальневосточным художником Павлишиным, общение со своими сверстниками по «литературному цеху» и пусть редкие, но необходимые встречи со старшими, но один пуд литературной соли съевшими писателями.

Пока все хорошо, все ладно. Становление писателя происходит основательно, спокойно, без истерических художественных вывертов и кавалерского кокетства молодого лауреата. Как живет, так и работает, по-хозяйски прочно, душевное и духовное здоровье в порядке, и с физической стороны со здоровьем тоже хорошо дело обстоит: не пьет, не курит, в беседе сдержан, рассказчик милостиво божьей, записаться не может уже потому, что всю жизнь добывал и добывает хлеб «своими руками» — хороший это «стимул» в работе, как глаголят современные производственники.

И все же, все же... вот, закончив дела на стане и в избушке, снарядившись на завтрашнюю охоту, вытянулся он на деревянных нарах, устеленных сухой травой или хвойными ветками, закинул сильные, натруженные руки за голову. Пошелкивает печка. Шевелится во тьме ответ золотым жучком. За окном зимняя ночь, пространственный и загадочный таежный мир, за ним где-то города, люди...

О чем думает, о чем заботится молодой писатель в своем отнюдь не постылом и не простом одиночестве? О семье? О детях? О любимой жене? Это само собой. А может, он думает о том, как постичь и разгадать этот притихший ночной мир? Как разрешить его противоречия и помочь сделаться человеку хоть чуть-чуть луч-

ше, подзаблудившемуся в нем, в миру, в тайге человеческой? Для этого надо непрестанно совершенствоваться, надо самому додуматься до того, что не всякая толстая книга есть роман, хотя и размыты его границы в нашей литературе, хотя и появлялись под видом этого емкого, величественного жанра скороснелые поделки и просто «кирпичи» чтива, словесное варено, которых так точно и хлестко охарактеризовал еще Белинский: «Не воровано и не свое».

И, может, в последнем проблеске сознания охотника, утишающегося глубоким сном, мелькнут не только огонь, лес, горы, зверье, оленья стада, знакомые с детства картины вечного человеческого кочевья, но и возникает образ женщины, так и не отстрадавшей до сих пор благодаря генетальному перу и сострадавшему сердцу Льва Толстого, положившей свою нежную шею на холодный рельс, под неумолимо надвигающуюся, пылящую паром, грозную и грузную машину.

И, быть может, послышится что-то тихие шаги и молюсь о помощи — это она, женщина, идет, крадется в сердце писателя, и чем он больше начинает чувствовать человеческую боль и загадки бытия, настойчивей будет его тревожить этот «зверь», по заверению старшего по труду сотоварища куда более опасный и сложный, чем «тигра», и «по-

вязать» его, этого «зверя», на бумаге ой как сложно, и в особенности нынешнюю, замаскированную женщину, такую независимую, такую вроде вольную, в какую-то и ее «передовому» уму непостижимо тревожащую даль востребованную, но во зрелости лет, как сто и двести лет назад, истово тоскующую по простой бабьей доле.

И, может, пропадет у охотника сон и метнется он к столу, едва освещенному тусклым оледенелым оковцем, засветит свечу, и до восторога, до веторопливого зимнего утра будет мучиться над бумагой, рвать и с досадой бросать к печке скомканные листы, одолевая уюрустующий «матерпал», истязая воображение, слух, сердце и помпная старшего товарища крутым, но, надеюсь, добрым словом: «А будь он вела-дер, вон как мне хорошо жилось, писалось, премий дополна надавали. А он тут со своим словом, со своими женщинами. И ты готовься, говори, всегда готовься к надсадному труду, если хочешь занять свое, пусть и скромное, место в литературе».

Он и сам, старший наставник, или, точнее, товарищ по литературному труду, стиснув от переизлишней злости, одолевает очередной перевал, повторяя про себя любимого своего поэта Петрарку: «И жизни нет конца, и мукам краю».

Красноярск.